

Пока не зазвонил телефон, день этот ничем не отличался от прочих. Нагруженный продуктами, я возвращался домой по Бермондси, кварталу Лондона, протянувшемуся к югу от реки. Августовский вечер выдался жарким и душным, и когда раздался телефонный звонок, я даже поначалу решил не отвечать на него, уж очень хотелось побыстрее оказаться дома и принять душ. Но любопытство пересилило, и, замедлив шаг, я выудил трубку из кармана и прижал к уху — экран ментально стал скользким от пота. Звонил отец. Недавно он переехал в Швецию, и звонок был необычным: он редко пользовался своим мобильным телефоном, да и разговор с Лондоном стоил недешево. Из трубки донеслись рыдания. От неожиданности я резко остановился и выронил пакет с продуктами. За всю жизнь мне еще не приходилось слышать, как он плачет. Мои родители очень старались не ссориться и не выходить из себя в моем присутствии. В нашей семье никогда не случалось скандалов или истерик. Я сказал:

— Папа?

— Твоя мать... Ей нездоровится.

— Мама заболела?

— Все это очень печально...

— Что печально? То, что мама больна? Чем? Как она заболела?

Отец долго еще не мог унять слез. А мне оставалось лишь стоять столбом и ждать. Наконец он выговорил:

— Она воображает то, чего нет, — ужасные, просто кошмарные вещи.

Упоминание ее воображения, а не какой-либо физической хвори, стало для меня такой неожиданностью, что я, чтобы не упасть, вынужден был присесть и положить руку на теплый потрескавшийся асфальт тротуара, тупо глядя на пятно красного соуса, расплывающееся по дну упавшего пакета. Наконец я обрел голос:

— И сколько это продолжается?

— Все лето.

То есть уже несколько месяцев. А я ничего не знал, сидя здесь, в Лондоне, в полном неведении — отец, по обыкновению, проявил свойственную ему скрытность. Очевидно, угадав, о чем я думаю, он продолжил:

— Я был уверен, что смогу помочь ей. Пожалуй, я ждал nepозволительно долго, но симптомы проявлялись постепенно — тревога, возбуждение и странные рассуждения, но такое может случиться с каждым. А потом наступил черед голословных обвинений. Она утверждает, что у нее есть доказательства, все время говорит о каких-то уликах и подозреваемых, но все это — полная ерунда и чистой воды вымысел.

Отец перестал плакать и заговорил громко и взволнованно. К нему вернулось красноречие. И в голосе его зазвучала уже не только грусть.

— Я надеялся, что это пройдет, что ей просто нужно время, чтобы привыкнуть к жизни в Швеции, на ферме. Но ей лишь становилось все хуже и хуже. А теперь...

Мои родители принадлежат к поколению, которое обращается к врачам лишь в том случае, если недуг можно увидеть воочию или потрогать руками. Представить, что они готовы отяготить совершеннейшего незнакомца подробностями своей личной жизни, было совершенно невозможно.

— Папа, скажи мне, что она была у врача.

— Он говорит, что у нее транзиторный психоз. Даниэль...

Мать и отец оставались единственными на свете людьми, которые отказывались называть меня уменьшительным именем Дэн.

— Твоя мама в больнице. Ее госпитализировали.

Его последние слова добились меня окончательно. Я открыл было рот, собираясь заговорить, понятия не имея, что тут можно сказать, и, наверное, лишь промычал бы нечто невразумительное, но в конце концов вообще промолчал.

— Даниэль?

— Да?

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

Мимо проехала побитая и ободранная машина, притормозила, словно водитель решил присмотреться ко мне повнимательнее, но не остановилась. Было уже восемь часов вечера, и сегодня на самолет я уже наверняка не успевал — придется лететь завтра. Вместо того чтобы разволноваться, я приказал себе сосредоточиться. Мы поговорили с отцом еще немного. Эмоциональное потрясение первых минут миновало, и мы вновь стали самими собой — сдержанными и рассудительными. Я сказал:

— Я закажу билет на первый же утренний рейс и сразу перезвоню тебе. Ты где сейчас, на ферме? Или в больнице?

Он оказался на ферме.

Закончив разговор, я принялся рыться в пакете, бережно выкладывая покупки на тротуар, пока не нашел разбитую банку с томатной пастой. Лишь наклейка не давала ей рассыпаться на осколки, и я осторожно вынул ее из пакета. Выбросив банку в ближайшую урну, я вернулся к своим покупкам и салфетками вытер разлитый соус. Пожалуй, в этом не было никакого смысла — к чертовой матери этот пакет, ведь мама попала в больницу! — но треснувшая банка могла развалиться окончательно, и тогда соус перепачкал бы все

остальное. Кроме того, эти простые и такие обыденные действия несли в себе успокоение. Подхватив пакет с покупками, я быстрым шагом вернулся домой, на верхний этаж бывшего фабричного здания, ныне перестроенного в многоквартирный дом. Стоя под холодным душем, я раздумывал: а не заплакать ли самому? Задаваясь этим вопросом, я вел себя так, словно решал, а не закурить ли мне. Разве не в этом заключался мой сыновний долг? Слезы уже давно должны были сами навернуться мне на глаза. Но их не было. Я всегда старался выглядеть сдержанным, особенно перед незнакомыми людьми. Но в данном случае речь шла не о сдержанности — я просто не мог поверить в случившееся. Я не мог отреагировать эмоционально на ситуацию, которой не понимал. Нет, я не стану плакать. Слишком многие вопросы оставались без ответа, чтобы я мог позволить себе такую роскошь.

Приняв душ, я уселся за компьютер и принялся перечитывать письма, которые мать прислала мне по электронной почте за последние пять месяцев, спрашивая себя: а не упустил ли я чего-нибудь? С родителями я не виделся с тех пор, как в апреле они переехали в Швецию. На прощальной вечеринке в Англии мы подняли тост за их счастливую жизнь на пенсии. Все гости вышли на крыльцо их старого дома, чтобы проводить и помахать им на прощание. У меня нет ни братьев, ни сестер, ни теток с дядьями, так что, говоря о своей семье, я имею в виду лишь нас троих: мать, отца и меня самого — треугольник, маленький фрагмент мироздания, составленный из трех тесно расположенных звездочек, вокруг которых простирается огромная пустота. Впрочем, отсутствие родственников никогда не становилось темой подробного обсуждения. Судя по некоторым намекам, в детстве моим родителям пришлось несладко, и они отделились от собственных семей. Я был уверен, что их клятва никогда не ругаться в моем присутствии проистекала из желания во что бы то

ни стало дать мне другое воспитание, нежели то, которое получили они сами. Так что пресловутая британская сдержанность была здесь совершенно ни при чем. Они никогда не скупались на проявления любви и при первой же возможности подчеркивали, как счастливы. Мои родители никогда не упускали повода для праздника, а если его не было — что ж, тогда они просто сохраняли оптимизм. Именно поэтому некоторые наши знакомые считали, что они оберегают меня от тягот жизни — я видел в ней только хорошее, а плохое оставалось за кадром. Надо сказать, что подобное положение дел меня полностью устраивало, и я вовсе не стремился его разрушить. Прощальная вечеринка удалась на славу, и гости сердечно проводили отца и мать, которые отправлялись в большое путешествие — мама возвращалась в страну своего детства, на родину, которую покинула, когда ей исполнилось шестнадцать лет.

Поначалу, сразу же после приезда на эту заброшенную ферму, мать писала мне регулярно, описывая прелести тамошней уединенной жизни, красоты природы, гостеприимство и доброжелательность местных жителей. Если в ее письмах и присутствовали намеки на то, что на самом деле все обстоит не совсем гладко, то они были настолько завуалированными и туманными, что я их не заметил. Но по мере того, как шли недели, письма ее становились все короче, а восторженность постепенно угасала. Я счел это хорошим знаком. Мама наверняка приспособилась к окружающей действительности, быт ее налажился, и у нее просто не оставалось лишнего времени. И вот экран вспыхнул ее последним письмом ко мне: *«Даниэль!»*

И больше ничего — лишь мое имя и восклицательный знак. Тогда я, помнится, быстро настроил ей ответ о том, что наверняка случился какой-то сбой, что ее письмо дошло до меня не полностью, и не могла бы она отправить его снова. Почему-то я сразу решил, что электронное письмо, содержащее